

## «Нормализация» раннемодерной русской истории

Коллманн Н. Преступление и наказание в России раннего Нового времени / Пер. с англ. Прудовского П.И., Меньшиковой М.С. и др. – М.: НЛО, 2016. – 616 с.

Написать рецензию на вышедшую в минувшем году в издательстве «Новое литературное обозрение» монографию «Преступление и наказание в России раннего Нового времени» американской исследовательницы Нэнси Коллманн как будто легко. Автор ее не нуждается в представлении – всем, кто так или иначе соприкасается с историей русского государства и общества XVI-XVII вв., хорошо известна ее работа «Соединенные честью» [Коллманн 2001]. О чем будет идти речь в работе – тоже как будто все ясно – название говорит само за себя. На чем будет основываться автор в своих построениях и выводах – также не вызывает сомнений, ибо Н. Коллманн известна своим ответственным отношением к качеству выходящих из-под ее пера текстов и уделяет большое внимание работе с первоисточниками (в нашем случае – материалами судебных процессов, юридическими актами и пр.). Но эта простота и легкость обманчивы – на самом деле новая работа историка существенно глубже и заставляет основательно призадуматься над тем, а насколько хорошо мы знаем свою собственную историю, не упускаем ли мы в запале полемики и в погоне за ярким, запоминающимся образом нечто, что в большей степени соответствует минувшей реальности, нежели наши порой поспешные и скороспелые, в угоду господствующим в обществе (а наше профессиональное историческое сообщество – часть российского общества и так или иначе испытывает воздействие с его стороны) мнениям и доктринам, выводы?

Свои размышления над текстом мы начнем издаека. Несколько лет назад в предисловии к исследованию В. Кивельсон «Картография царства: земля и ее значения в России XVII века» М.М. Кром отмечал, что «к концу 80-х годов XX века в США сформировалось направление, родственное исторической антропологии, – новая культурная история». Этот поворот затронул и американскую русистику, фокус внимания которой «сместился с изучения политических институтов, войны, дипломатии, государственного управления на различные аспекты истории культуры». И, развивая свою мысль дальше, М.М. Кром указывал, что «в книге “Самодержавие в провинциях” (увы, на русский язык до сих не переведенной и оставшейся нам недоступной в оригинале – В. П.) Кивельсон подвергла ревизии привычный образ Московского царства как деспотического государства, властитель которого как рабами правил своими бесправными подданными». Суть предложенной В. Кивельсон в 1996 г. новой концепции московской монархии заключалась в том, что последняя, **«подобно другим европейским государствам начала Нового времени, нуждалась в поддержке и содействии различных групп населения** (выделено нами – В. П.)<sup>1</sup>, находивших в рамках существующей правовой и политической системы возможности для защиты своих прав и интересов...» [Кивельсон 2012: 9, 10].

Мы не случайно выделили именно этот фрагмент в приведенной цитате, поскольку, на наш взгляд, он в концентрированной форме выражает саму суть нескольких вышедших в последние годы работ, отражающий новый, зарождающийся на наших глазах «дискурс» в изучении особенностей взаимодействия власти и общества в Московской Руси позднего Средневековья – раннего Нового времени. К ним можно отнести и уже упоминавшуюся выше работу Н. Коллманн «Соединенные честью», и исследования отечественных историков – например, В.А. Аракчеева [Аракчеев 2014], В.В. Бовыкина [Бовыкин 2012; Бовыкин 2015] и М.М. Крома [Кром 2010]. Эти исследования в большей или меньшей степени, основываясь

---

<sup>1</sup> Для русскоязычного читателя наиболее доступной работой, в которой освещается такой подход к анализу системы взаимоотношений между властью и обществом в эпоху раннего Нового времени, является исследование Н. Хеншелла [Хеншелл 2003].

на тщательном анализе широкого круга источников, причем в первую очередь актового материала, а не исторического нарратива, подвергаются критике (прямой или косвенной) прежний исторический «дискурс» [см., например: Трепавлов 2017; Филюшкин 2017], зародившийся в XIX в. и в целом негативно расценивавший исторический опыт Московской Руси.

Новая книга Н. Коллманн прекрасно укладывается в этот новый, зарождающийся на наших глазах «тренд». (И что особенно радует, так это оперативность с ее переводом – исследование впервые увидело свет в 2012 г., а спустя 4 года она выходит на русском языке. Эту бы оперативность да с переводом еще одного оригинального и интересного исследования французского историка А. Береловича [Berelowitch 2001], которого по праву можно считать одним из создателей нового «дискурса» в освещении проблем русской истории раннего Нового времени!). Характеризуя суть основной идеи «Преступления и наказания», сошлемся на слова отечественного исследователя К.Ю. Ерусалимского. В свое время он писал по поводу «Соединенных чество», что американский историк исходит из того, что русское «самодержавие не устраняло, а в своих интересах поддерживало многообразие способов общежития, институтов и ценностей, образовавшееся в ходе разрастания территории государства...» [Ерусалимский 2003].

Этот тезис Н. Коллманн последовательно, шаг за шагом развивает и подкрепляет на страницах «Преступления и наказания». Структура работы вполне традиционна – введение, в котором автор делает обширный историографический обзор и анализ источниковой базы исследования (еще раз подчеркнем, что Н. Коллманн, в отличие от некоторых других зарубежных историков-русистов, чье имя на слуху, основывает свои выводы на проработке весьма широкого круга первоисточников – в первую очередь актовых материалов, и в той части работы, в которой она делает свои выводы, опираясь на анализ актовых материалов, ее умозаключения смотрятся наиболее убедительно и весомо); основная часть, включающая в себя две части – «Судебная культура» (вопросы, которые в ней рассматриваются, хорошо видны и названий разделов этой части – «Основания уголовного права», «Проблема профессионализма: судебный персонал», «Правоохранительные кадры и общество», «Контроль над должностными лицами», «Пытка» и др.) и «Наказание» (аналогично – эта часть включает в себя такие разделы, как «Телесные наказания до 1648 года», «Телесные наказания в 1649-1698 годах», «Смертная казнь: форма и ритуал», «Бунт и мятеж», и другие разделы, в том числе те, на которые мы обратили особое внимание – «Наказание тягчайших преступлений в долгом XVI веке» и «Моральная экономика: зрелища и жертвы»); заключение с характерным названием «Российская правовая культура», в котором автор подводит общие итоги проделанной работы и, наконец, соответствующий научно-справочный аппарат.

Характеризуя сам текст, отметим, что на наш взгляд, подробный пересказ его содержания непродуктивен и лишает потенциального читателя возможности, взяв в руки этот увесистый, симпатично оформленный том, получить удовольствие от чтения – хотя, конечно, это удовольствие на первых порах будет и неочевидным. Это обусловлено прежде всего тем, что сам по себе текст непрост для восприятия, насыщен фактурой и требует определенной предварительной подготовки – как минимум наличия хотя бы первичных представлений относительно особенностей устройства государственной машины России той эпохи и взаимодействия его с обществом. Впрочем, личный опыт обсуждения острых вопросов русской истории раннего Нового времени показывает, что порой многознание и хорошая осведомленность в историографии вопроса лишь препятствуют адекватному восприятию излагаемых тезисов и выводов – давление авторитетов прошлого подавляет все и все преодолевает, хотя эти авторитеты тоже люди, которым свойственны собственные субъективные пристрастия и заблуждения.

Но вернемся к тексту. Нас интересуют в этой работе не только и не столько факты и даже не те сведения относительно устройства судебной системы старой допетровской России

и ее правовой культуры. Нет, нам интересны и любопытны в первую очередь те тезисы, которые были положены в основу исследовательской модели и те выводы, которые были получены автором в итоге. Это тем более важно, что тезисы эти и выводы при всей их спорности и дискуссионности заставляют серьезно призадуматься – правильно ли мы представляем себе свою историю.

Итак, с чего начинает свою работу Н. Коллманн? Уже в первых ее строках, во введении, она обращает внимание читателя на тот факт, что прежние исследования русского права и соответствующих практик концентрировались на «изучении буквы закона, а не на его применении в жизни». При исследователи воспринимали и, соответственно, изучали Россию как «периферийное и постороннее (надо полагать, по отношению к Европе – В. П.) образование, которое имело уникальные формы управления и развития». Однако, утверждает Коллманн, обращение к источникам и их непредвзятый анализ показывают, что «российский опыт государственного строительства находится в широком континууме перемен, присущих раннемодерной эпохе» (с. 14-15).

Согласитесь, это очень смелое утверждение, в особенности для российской публики, не искушенной в тонкостях «новой культурной истории», достаточно далекой от тех дискуссий в научном сообществе относительно особенностей становления и развития политических, правовых и социальных институтов московского общества раннего Нового времени и воспитанной в духе пресловутого «дискурса» азиатско-византийской «страны рабов, страны господ». Понимая это, автор «Преступления и наказания» предпринимает обширный экскурс в насчитывающую уже несколько десятков лет историографическую традицию изучения «стратегий управления, централизации и формирования суверенитета» раннемодерных (с 1500 по 1800 гг.) государств в Европе (включая сюда, как это ни парадоксально, и Османскую империю; впрочем, эта парадоксальность только видимая, поскольку османы одной ногой находились в Европе, в Румелии, и переняли немало административных и иных практик у тех же византийцев). Один из важнейших результатов, который был получен исследователями, заключается в предостережении от преувеличения мощи и величия молодых централизующих раннемодерных государств [см., например: Хеншелл 2003: 8-11]. «Это предостережение особенно актуально для историков России», – подчеркивает Коллманн (с. 15).

В чем тут дело, и почему американский историк обращает внимание читателя именно на этот аспект? Ссылаясь на мнение многочисленных исследователей раннемодерных государств, она указывает, что формально «деспотическая» власть монархий XVI-XVIII вв., пытаясь реализовать свои обширные (на бумаге) властные полномочия, сталкивалась с серьезными проблемами и, пытаясь решить их, использовала порой неожиданные, зачастую неформальные механизмы взаимодействия с местными сообществами. «Иными словами, раннемодерные государства превращались в современные благодаря органичному сочетанию таких свойств, – продолжает свою мысль дальше Коллманн, – которые в социальной теории часто рассматриваются как полярные категории: централизация / децентрализация, персонализм/публичность, власть закона / власть обычая» (с. 17). И Россия, по ее мнению, в этом отношении в еще большей степени, нежели государства Европы и даже Османская империя, «демонстрирует поразительное несоответствие между претензиями на централизацию и реальными практиками управления». Безусловно, продолжает исследователь, в раннем Новом времени российские власти достигли немало в развитии властных механизмов («жил власти»). Однако тут стоит обратить внимание, что, характеризуя эти достижения, Коллманн перечисляет те структуры, которые, по нашему мнению, можно смело отнести «к делу государеву», т.е. внешней политике, военной, административной и идеологической сферам.

Но одними этими «жилами» многосложное дело управления государством не ограничивается, и, опускаясь на уровень ниже, переходя к местному самоуправлению, к

«земскому делу», Коллманн отмечает, что, «как и в других империях раннего Нового времени, централизованная власть Москвы была скорее мифом, чем реальностью: в качестве центра империи Москва развивала то, что Джейн Бербанк и Фредерик Купер назвали евразийским подходом к империи, – “политику различий”, позволявшую сообществам местного населения самим вести дела в широких сегментах социальной и политической жизни, оставляя правителям лишь ключевые пункты власти» (с. 20).

Такое заявление не оставляет от прежнего «дискурса» камня на камне, ибо о каком «извечном» российском «деспотизме» и «рабологии» нижестоящих перед вышестоящими, подданных перед государем и его представителями может идти речь, если власть активно привлекает к управлению страной этих самых подданных (о чем, кстати, и идет речь в упомянутых выше работах В.А. Аракчеева и В.В. Бovyкина, а также отчасти и М.М. Крома), обойтись без которых она не может чисто физически? Впрочем, сама Коллманн полагает (и мы с ней в этом согласны), что эта историографическая традиция стала порождением не критического, «потребительского» восприятия историками свидетельств европейцев, побывавших в России и оставивших свои записки относительно нравов и обычаев «москвитов», которых они полагали варварами (с. 20-21, 22; об «инаковости» русских раннего Нового времени см., например: [Вульф 2003; Нойманн 2004; ср.: Саид 2006]).

Обозначив цель своего исследования, далее Коллманн продолжает: «Проводя параллели с европейской и османской практикой того же времени, мы покажем, как предписанные законом формальные процедуры и ограничения менялись под воздействием таких факторов, как интересы сообществ и отдельных лиц, не предусмотренные законом процедуры (например, мировые соглашения) и гибкая интерпретация закона при судебном помиловании. Мы попытаемся доказать, что практика уголовной юстиции в России должна рассматриваться как сочетание “публичного” и “частного”, а их противопоставление не релевантно. В эти столетия Россия нашла путь от персонализированной судебной системы к более рациональной; прослеженные в этой работе (до начала XVIII века) формализованные реформы законодательства и институтов не отменяли пластичности системы в отношении процедуры и судопроизводства». И самое, на наш взгляд, важное положение, на которое стоит обратить особое внимание – для России раннего Нового времени, как и для других раннемодерных государств, было характерно положение, когда «законы утверждали примат царской юстиции, судопроизводство и судебная практика отвечали представлениям местного населения о правосудии, ориентированном на поддержание целостности и стабильности сообществ, в которые это население было организовано». Как результат, подчеркивает Коллманн, **«население сотрудничало с судами и манипулировало ими. Другими словами, тот факт, что реальные приговоры отклонялись от требований писаного закона, был не свидетельством произвола или “незаконности” в судебной культуре, но знаком того, что судебная культура функционировала сбалансировано и исправно (выделено нами – В. П.)...»** (с. 24-25).

Завершая анализ введения, отметим еще одно обстоятельство, важное, с одной стороны, и печальное – с другой. Казалось бы, говоря о русской истории и особенностях русского исторического процесса, Коллманн заостряет свое внимание на анализе зарубежной историографии, тогда как характеристика отечественной носит второстепенный, подчиненный характер. Теория и методика исследования целиком и полностью построены на работах западноевропейских авторов, а российских исследовательница если и хвалит, то, по большому счету, лишь за издание на высоком научном уровне памятников русского права раннего Нового времени (с. 22). И это никак не связано с незнанием Коллманн русской историографии – как прежней, так и современной, поскольку она хорошо ориентируется в ней и осведомлена о последних ее достижениях. И, похоже, отмеченная ещё Ключевским «болезнь» русской исторической науки никуда не делась.

Но вернемся обратно к тексту исследования. Насколько удалось исследовательнице достичь поставленной цели? Читатель, взяв в руки книгу и прочитав ее, может сделать вывод

сам, мы же со своей стороны скажем – на наш взгляд, в общем и в целом ответ на этот вопрос может быть утвердительным. Приводимые Коллманн факты и интерпретации не оставляют сомнений в том, что поддержание порядка и исправное функционирование всей системы судопроизводства от следствия до вынесения приговора и его исполнения зиждилось на сотрудничестве власти и «земли», сотрудничестве в известной степени взаимовыгодном, от которого выигрывали обе стороны. «Земля» получала в таком случае гарантию защиты своих прав и наказания преступающих закон и обычай, а власть взамен обретала от «земли» необходимую легитимацию и повиновение.

В этом плане весьма примечателен анализ московских городских восстаний эпохи Алексея Михайловича, осуществленный Коллманн в 17-й главе ее работы с интригующим названием «Моральная экономика: зрелища и жертвы». «Самый замечательный аспект этих событий – пишет Коллманн, – это взаимодействие между правителем и его народом» (с. 504). Ссылаясь на исследования Р. Жирара и Дж. Агамбена в первую очередь [Агамбен 2011; Жирар 2010], она приходит к выводу, что «московские восстания XVII столетия разворачивались как ритуальное действие с участием правителя и народа, которое демонстрировало и проверяло на прочность законность царской власти (впрочем, это же самое можно сказать и о, к примеру, московском восстании 1547 г. – *В. П.*)...». Суть этого действия, по мысли Коллманн, заключалась в том, что «каким бы могущественным ни считался царь, законность его власти зиждилась на представлениях народа о его благочестии, справедливости, милости к бедным и умении слышать свой народ». В критические моменты, «когда нарушения принимали беспрецедентный характер, налоговое бремя и повинности становились невыносимыми», народ напрямую обращался к государю как к «отцу народа» с требованием защитить «малых сих». И, поскольку «сама идеология Московского государства не предполагала наличия полиции для охраны царя: считалось, что он должен **взаимодействовать** (выделено нами – *В. П.*) со своим народом напрямую», то для прекращения волнений, «ради общественного блага патриархальная роль правителя как защитника народа от несправедливости требовала от него принесения людских жертв». И эти жертвы, с одной стороны, выступали как средство восстановления стабильности и порядка, с другой – определяли легитимность его власти, которая, как отмечала Коллманн, определялась тем, насколько успешно он, государь, исполняет свои властные полномочия и своими действиями соответствует господствующим в обществе представлениям об идеальном правителе (с. 487, 504-505). И это соответствие охраняло личность царя лучше всякой полиции – такой вывод можно сделать из этой главы.

Продолжим характеристику выводов и интерпретаций, которые нам представляются особо ценными и важными. Вводя в 1-й части своего исследования («Судебная культура»), в разделе «Основания уголовного права», Россию и ее административные (в широком смысле) практики в общеевропейский раннемодерный контекст (включая сюда же и османскую Турцию), Коллманн отмечает, что «нет сомнения, Московское царство было централизованной бюрократической империей». Именно это обстоятельство историки, мыслящие в рамках традиционного «дискурса», с которым спорит исследовательница, ставили ему в вину, «иронизируя по поводу стремления кремлевской бюрократии контролировать принятие самых обыденных решений». Этот мелочный контроль, по мнению «традиционалистов», наглядно демонстрировал московскую отсталость, с одной стороны, а с другой – ее деспотизм (с. 38).

Безусловно, такой бюрократический централизм и стремление контролировать все и вся были присущи московской бюрократии (впрочем, ей ли одной?), но далее Коллманн отмечает, что, с одной стороны, колоссальные размеры России (уже в XVI в. она по площади превышала любое европейское государство – если, конечно, не брать в расчет заморские колонии), а с другой – для России была характерна острая нехватка ресурсов (любых – от природных до финансовых до людских). И в этом отношении отличия Московии от

современных ей раннемодерных государств Европы, по мнению Коллманн, минимальны уже хотя бы по той простой причине, что, как в Европе или в Турции, «центральный бюрократический контроль часто наталкивался на препятствия: коммуникации были затруднены из-за климата, больших расстояний и отсутствия дорог, а также из-за малого распространения грамотности, образования (кстати, а вот это достаточно спорный вопрос применительно к России раннего Нового времени – В. П.) и книгопечатания» (с. 38, 39, 52). И доводя свой тезис до логического завершения, она указывала, что в XVI-XVIII вв. Россия превратилась в могущественную раннемодерную империю, двигаясь в том же направлении, что и другие современные ей государства, используя те же приемы и методы. Они «подразумевали достижение определенного равновесия между притязаниями монарха на монополизацию насилия и ресурсов, с одной стороны, и противоположными тенденциями, исходящими из среды привилегированного дворянства, городского самоуправления, племенной верхушки, церковных организаций или народных представлений о правосудии» (с. 522).

Впрочем, по здравому размышлению, эта картина, нарисованная Коллманн, вовсе не представляется таким уж и открытием, коперниканским переворотом. Рассуждая о «централизованных» и «абсолютистских» монархиях раннего Нового времени, историки-«традиционалисты» неосознанно переносят на XVI-XVII вв. реалии более поздних времен, когда государство нарастило властную «мускулатуру» и действительно превратилось в пресловутого могущественного Левиафана, вещь если и не самодостаточную, то, во всяком случае, намного более близкую к этому, чем критикуемые режимы Филиппа II Испанского и Людовика XIV (не говоря уже об Иване Грозном). Но если вести речь о раннем Новом времени, то, зададимся вопросом, откуда государство могло взять необходимый административный ресурс для того, чтобы диктовать обществу, неважно, в центре ли, на местах ли, свою волю? Для этого ему не хватало ни соответствующего опыта (который еще предстояло наработать), ни денег, ни людей. Применительно к России это положение, на наш взгляд, еще более значимо по той простой причине, что, как мы уже отмечали выше (и на это указывает, хотя и не столь отчетливо, как стоило бы, Коллманн, см. напр. с. 535-536), она на фоне других великих европейских раннемодерных держав отличалась относительной материальной бедностью и рядом других, обусловленных особым географическим положением, негативных особенностей (например, крайней, на фоне государств Западной Европы, разреженностью населения). Об этом писали русские историки и XIX в., и XX в. [см., напр.: Соловьев 1988: 56-59; Милов 2001]. Поэтому московская бюрократия и была вынуждена изворачиваться, пытаясь, используя традиционные приемы, создать более или менее эффективно функционирующую административную и судебную систему, основанную на упомянутом Коллманн равновесии интересов.

Это равновесие на практике, согласно рассуждениям историка, выглядело как «сочетание личностных стратегий управления с формализованными процедурами, институциями и законом», при этом московская бюрократия, стремясь к централизации, «использовала разнообразные и прагматичные методы работы» (с. 52). Этот прагматизм просматривается едва ли не во всем. К примеру, анализируя проблемы юрисдикции и подсудности, Коллманн отмечает, что в Московском государстве сохранялась, на первый взгляд, архаичная и склонная к умножению злоупотреблений традиционная система административного и судебного разнообразия. Однако эта система работала, и достаточно эффективно, и московские управленцы умудрялись, казалось бы, проигрышные моменты оборачивать на пользу общему делу. Так, отсутствие «сословия» профессиональных юристов и нотариусов, которое, по мнению иностранных современников, было большой проблемой и недостатком московской судебной системы, компенсировалось тем, что, с одной стороны, «государство окружило непрофессиональных военных воевод-судей подведомственным им персоналом, обладавшим навыками судопроизводства» (с. 76). С другой стороны, центральная власть держала работу судей и их помощников под постоянным контролем.

Достигалось это, по мнению Н. Коллманн, посредством нескольких «стратегий». Первая заключалась в том, что суд осуществлял свои функции коллегиально и дьяки и подьячие, обладавшие колоссальным практическим опытом, «подстраховывали» малосведущих в хитросплетениях судебной системы воевод. Другая «стратегия» заключалась в том, что власть неуклонно добивалась (и, как отмечает Коллманн, добилась в конце концов) установления единообразных стандартов делопроизводства. «Одинаковые разновидности документов бытовали на всей территории России от Белгорода до Сибири, на протяжении десятилетий сохраняя свою форму и язык, что говорит о замечательном уровне централизации бюрократии» (с. 87). Одним из способов поддержания этого единообразия была регулярная ротация дьяков и подьячих – момент, на который указывает Коллманн (с. 84-85), однако она не уделяет ему должного внимания. Представляется, что такая практика с точки зрения соблюдения государственного интереса и одновременно интересов местных сообществ была более эффективна и оптимальна, чем, предположим, практика продажи и покупки судебных и иных административных должностей и превращения их в наследственное, семейное дело – на этот момент обращает и исследовательница (с. 143).

Третья стратегия, характерная для раннемоdernых государств и использовавшаяся в России и «обеспечивающая непрофессиональных судей знаниями и навыками работы с законами», по словам Коллманн, «заключалась в том, чтобы особое внимание уделялось обеспечению достоверности документов» (с. 87). Наконец, четвертая, и едва ли не самая примечательная, стратегия состояла «в надзоре за воеводами и их подчиненными, которые обязаны были отчитываться перед приказами на ключевых стадиях ведения важных дел или ожидать вердикта из Москвы» (с. 89). При этом (и снова стоит обратить внимание на прагматичность политики московских властей) столица всегда оставляла за судьями определенную свободу рук – в особенности, как подчеркивает Коллманн, если речь шла об удаленных от нее регионах, оставляя за собой право вмешаться в ход дела на той или иной стадии процесса и сохраняя в своей юрисдикции расследования и наказание особо тяжких преступлений, прежде всего связанных с политикой и религией (см., напр., с. 214, 215, 216, 221).

Принимая во внимание эти «стратегии», особенности московского делопроизводства, например, кажущееся на первый взгляд бессмысленным переписывание многократно основных моментов того или иного судебного дела вовсе таковым не является. «Подобные повторения способствовали тренировке судей в юридических вопросах (и, отметим от себя – прибывая на новое место, воевода уже более или менее ориентировался в порядке организации судопроизводства – *В. П.*)...». Кроме того, продолжает дальше Коллманн, подобная практика способствовала сохранению определенной преемственности в ведении дел – новый состав суда мог легко ознакомиться с материалами всего дела, представлявшего собой внушительный, в несколько десятков метров, свиток (с. 91). Так что ставшая притчей во языцех «московская волокита» не так уж и плоха, как может показаться на первый, неискушенный в хитростях московского судопроизводства, взгляд!

Говоря о равновесии интересов власти и местных сообществ, Коллманн подробно останавливается и на таком аспекте работы московской судебной и пенитенциарной системы, как взаимодействие присланных из центра чиновников с местным самоуправлением. Кстати, этот момент также является ярким примером московского прагматизма. Не имея реальной возможности заместить все вакансии на местах подготовленными чиновниками и администраторами, Москва с готовностью шла на сотрудничество с «землей» в этих вопросах. «Большая часть работавших в воеводской и губной избах не получали годового жалования, – отмечает историк, – а избиралась местным сообществом для того, чтобы выполнять царскую службу (в рамках как своих личных, так и общинных обязательств) в качестве выборных...» (с. 101). В итоге, как показывает Коллманн на примерах из реальной судебной и пенитенциарной практики того времени (с. 115-119,

127, 129), «привлечение местных выборных чиновников, связанных только крестным целованием и поручными записями, расчет на иные формы участия местного населения делали местные органы управления зависимыми от настроений жителей уездов и ослабляли осуществляемый ими контроль» (с. 119; ср. тж. с. 176, 177). Согласитесь, что описываемая картина более чем далека от расхожей оценки московского общества и государства как «тоталитарных» (в том смысле, который нынче вкладывается в этот термин – применительно к традиционным обществам все будет несколько иначе).

У описываемого Коллманн взаимодействия центральной власти и местного самоуправления есть и еще один аспект, которого исследовательница также касается в своей работе. 2-я часть книги посвящена анализу системы наказаний, принятых в Московском государстве. Предваряя этот раздел, она пишет: «Чтобы обеспечить себе долговременную жизнеспособность, государствам необходимо устанавливать режимы наказаний, приемлемые для общества» (с. 266).

Анализ московской системы наказаний осуществляется автором с опорой на этот тезис. Правда, она отмечает, что ответ на вопрос, насколько «земля» принимала систему наказаний, установленную законодательством, затруднен, ибо нарративные источники молчат на этот счет. Однако, по мнению исследовательницы, тот факт, что общество не выказывало протестов против применяемых к преступникам наказаний и искало справедливости через суд, косвенно свидетельствует в пользу предположения о том, что «уголовное правосудие отвечало ожиданиям населения». Более того, полагает Коллманн (и в этом с ней трудно не согласиться), «учитывая, что известных в округе преступников власть не могла поставить перед судом без содействия рекрутируемых из местного населения команд, стражников и приставов (следовательно, если нет содействия, то и преступника невозможно привлечь к ответственности – В. П.), толпа, глядевшая на экзекуцию, вполне могла одобрять наказание людей, отбросивших моральные обязательства перед членами своих маленьких, как обычно в Московской державе, общин, городских или сельских» (с. 268). В итоге государственное насилие, считает историк, осуществлялось посредством взаимодействия между населением и властью, при этом, что любопытно, «судьи на местах воздерживались от применения полной силы законов» (с. 289). Нетрудно догадаться, почему так случалось.

Еще один сюжет, разрабатываемый Коллманн, касается проблемы обеспечения чиновников жалованьем (раздел «Стратегии компенсации»). Касаясь этого вопроса, исследовательница отмечает, что центральная власть (очевидно, не имея в своем распоряжении достаточно ресурсов – финансовых, земельных и иных – В. П.), была вынуждена позволять чиновникам «кормиться от дел». Это «кормление» неизбежно порождало определенные злоупотребления, в т.ч. и коррупцию, о которой столь красочно рассказывают иностранные наблюдатели. Однако Коллманн полагает (и демонстрирует это на конкретных примерах из административной и судебной практик, см. напр., с. 141), что эта система и неизбежно связанная с нею коррупция «благодаря личным связям и взаимным обязательствам, связанным с дарением подарков, она (коррупция – В. П.) могла также способствовать созданию устойчивого управления» (с. 139).

Вывод на первый взгляд представляется несколько неожиданным – как же так, коррупция и вдруг имеет положительное воздействие на качество и порядок управления? Однако все не так просто, как может показаться. «Эффект дарения был взаимным, – отмечает Коллманн, – и это понимали все ... Дарение создавало особые рабочие отношения между населением и / или частным лицом и чиновником. Дарители ждали от судьи быстрого решения дела, от сборщика налогов – отсрочки в платеже, а от правительственного инспектора – честной работы», сама же грань между подарками и коррупцией была чрезвычайно размытой и туманной, на что и обращает внимание историк (с. 141). И что примечательно в этом разделе – так это то, что, с одной стороны, Коллманн приходит к тем же выводам, что и ряд отечественных исследователей, изучавших феномен коррупции в России раннего Нового времени [Корчмина 2015; Серов 2012], а с другой – и в этом



отношении Россия практически не отличалась от европейских государств той эпохи: «Как и в раннемодерной Европе, политическая жизнь структурировалась сетями личных связей между клановыми группировками. Язык и практика “кормлений”, “почестей / поминков” и царских пожалований, политика патроната и клиентелы сосуществовали с законодательными и процессуальными категориями». И система, выстроенная на этих отношениях, способствовала формированию равновесия интересов, а, значит, в определенной мере – и сохранению социальной и политической стабильности (с. 142).

Подводя итог своим изысканиям, Коллманн приходит к выводу, что в России раннего Нового времени, как и в других современных ей государствах, устойчивость, легитимность политической (и судебной) системы покоилась не только и не столько на насилии, «но и на том, что государство в большей или меньшей степени отвечало представлениям, согласно которым представитель правитель должен прислушиваться к своим поданным, хранить традицию и обеспечивать безопасность в обществе». Вдобавок к этому оно, государство, «ставило перед собой минимальные задачи, сводившиеся к военным вопросам, сбору налогов, мобилизации ресурсов и верховной юрисдикции (т.е. к тому, что имело отношение к «делу государеву» – *В. П.*)...». И даже в этом, как показывает Коллманн (и современные отечественные исследователи), «государство нуждалось в сотрудничестве сообществ, чтобы заполнить штатами хотя бы в минимальной степени структуру централизованного управления». Уже одно это «побуждало государственных чиновников на местах в той или иной степени учитывать интересы и пожелания населения (не всего, конечно, но «лутчих людей» несомненно – *В. П.*)...» (с. 522, 523). Более того, как подчеркивает историк, «и местные жители, и участники тяжбы **манипулировали** (выделено нами – *В. П.*) ходом дела как могли: кто-то мог позволить себе дать взятку, другие осмеливались противиться предписаниям суда (а судебские чиновники и приставы с большим трудом могли, если вообще оказывались способными сделать это, принудить их повиноваться – *В. П.*), многие сотрудничали с судом в той мере, в какой они чтили царскую власть и свою присягу и в какой верили, что деятельность суда может служить их интересам (а если полагали, что не в их интересах – то и не служили, и власти опять же оказывались перед вопросом – как принудить местных жителей к повиновению – *В. П.*)...» (с. 183; о стратегиях влияния на ход процесса см., напр., с. 222-223 и далее). Одним словом, Россия, как и любое другое раннемодерное государство, не была страной деспотизма (с. 536), подытоживает свои рассуждения о природе российской власти и государственности в раннем Новом времени Коллманн. И этот ее вывод, основанный на тщательном анализе широкого круга источников, выглядит более чем убедительно и заслуживает внимания и дальнейшей разработки.

Однако, похвалив автора за оригинальные (и вместе с тем обоснованные) выводы, поддержав ее концепцию, мы, справедливости ради, не можем не остановиться и на присущих исследованию определенных, на наш взгляд, недостатках и противоречиях. Так, к примеру, сравнивая «классический» французский абсолютизм с российским, Коллманн отмечала, что первый «был построен при помощи умелого компромисса с группировками провинциального дворянства, гильдиями, городами и другими опосредующими сообществами и за счет признания местных языков и более 300 региональных и локальных кодексов обычного права, а также старинных сеньориальных привилегий» (с. 39-40; ср. [Хеншелл 2003: 13-14, 16, 17]). Ссылаясь на С. Кэрролл, Коллманн применяет по отношению к Франции раннего Нового времени термин «сложносоставная полития» (правда, не совсем понятно, почему Коллманн не использовала классическую работу того же Дж. Эллиотта [Elliott 1992]). «Судебная разнородность Франции оставляла широкие полномочия за обществом и давала автономным сообществам и элитам гораздо больше возможностей противостоять королю, – пишет далее исследовательница, – чем когда-либо было у московского общества перед лицом царской власти» (с. 40).

Тезис этот более чем спорный, поскольку, во-первых, сама Коллманн в дальнейшем подвергает его сомнению и разрушает многочисленными примерами этой самой самостоятельности местных сообществ перед лицом верховной московской власти. Другое дело, что жизнь не стояла на месте, и одно дело взаимоотношения местных сообществ с центральной властью в начале XVI в., в середине XVII или в эпоху петровских преобразований. И складывается такое впечатление, что процессы ограничения самостоятельности и автономности местных сообществ в России шли быстрее, чем в той же Франции (см., к примеру, с. 47). И, во-вторых, раннемодерная «Московия», пожалуй, не в меньшей, если не в большей степени, чем современная ей Франция или Испания, заслуживает определения «сложносоставная полития» или «композиционная монархия» (впрочем, этот тезис мы только обозначим, поскольку ограниченный объем этой рецензии не позволяет нам развить его дальше и соответствующим образом обосновать).

Другой спорный момент, с которым мы не согласны (впрочем, здесь претензии не столько к самой Коллманн, а к тем, на кого она ссылается – в первую очередь к А. Рюстемайер [Rustemeyer 2010]), касается утверждения о том, что «централизаторские усилия Москвы в конце XV – XVII веке не вдохновлялись всеохватывающей идеологией социального единства и дисциплины» (с. 51). Да, конечно, американский историк права, когда пишет о том, что русские правовые кодексы раннего Нового времени носили исключительно прикладной характер и не включали в себя «ни введения, ни абстрактных разъяснительных норм...» (с. 51, 52). Однако стоит отойти в сторону от юридических кодексов, и от утверждения относительно отсутствия идеологии не остается ничего. Русская книжность позднего Средневековья и раннего Нового времени наполнена множеством текстов, в которых пресловутая идеология социального единства и дисциплины прослеживается более чем четко (см., например, послания митрополита Даниила Рязанца [Жмакин 1881]). И сказать, что эти тексты не были востребованы в обществе, нельзя – напротив, они читались и исправно переписывались. Впрочем, как и в предыдущем случае, Коллманн сама себе и противоречит, поскольку на страницах ее исследования утверждений относительно того, что в России, как и в других раннемодерных государствах, соответствующий религиозно-политический дискурс присутствовал, встречается (с. 522), и не раз (хотя и не конкретизируется).

Определенные сомнения вызывают построения автора, изложенные в 14-й главе II части «Наказания тяжчайших преступлений в долгом XVI веке», в особенности в той ее части, в которой речь идет о временах Ивана Грозного. Коллманн в начале этого раздела указывает, что, увы, «от долгого XVI века (от Ивана III [правил в 1462-1505 годах] до конца Смутного времени, примерно 1598-1613 годы) судебные дела не сохранились; имеется некоторое количество документальных источников: поручные и клятвенные записи, опись царского архива, – но большую часть сведений мы черпаем из нарративных памятников, летописей и записок путешественников» (с. 388). При этом, отмечает Коллманн, «использование летописей представляет определенную проблему, они полны литературных топосов и политических тенденций». Не меньше проблем связано и с использованием свидетельств иностранцев, которые «склонны к сенсациям, плагиату и пересказу сплетен». Более того, иностранные наблюдатели, по словам исследовательницы, «намеренно писали о России в несколько сенсационном духе, чтобы заманить читателей и привлечь на свою сторону благосклонность покровителей, поэтому мы имеем дело с настоящей проблемой литературного преувеличения». То же касается и одного из «излюбленных» источников по истории правления Ивана Грозного – сочинений князя А. Курбского, в особенности его «Истории о великом князе московском», которую Коллманн полагает «весьма спорным источником», в котором «автор в лучшем случае пересказывает слухи» (с. 388, 397, 398).

Однако, поставив под сомнение объективность свидетельств современников (в чем она, впрочем, не одинока – см., например: [Филюшкин 2017: 22-27]), Коллманн тем не менее дальше пишет, характеризуя особенности судопроизводства и юридических практик во

времена опричнины, что, «с одной стороны, в делах по наитягчайшим преступлениям не прекращалось применение обычной судебной процедуры, с другой – нарушались все мыслимые правила и законы» (см., например, описание террора в Новгороде, с. 403). Но вся проблема заключается как раз в том, что свидетельствуют о пресловутых «нарушениях» как раз именно нарративные источники, настроенные по отношению к Ивану Грозному, мягко говоря, пристрастно. Уже одно это обстоятельство должно было заставить любого более или менее объективного исследователя насторожиться. И сама Коллманн противоречит прежде высказанным предположениям, когда пишет, что «даже в разгар опричнины суды проводили расследования, допросы, выносили приговоры, казнили и миловали» (с. 401). Так все таки – нарушали или не нарушали, действовали согласно традиционным процедурам или же вопреки им? Увы, следственных дел эпохи опричнины не сохранилось (хотя следы их остались, к примеру, в описи царского архива), однако, если отвлечься от живописаний ужасов, то даже пресловутое новгородское «дело» в общем и в целом не выходит за рамки обычной судебной практики (за исключением разве что ее масштаба – в процесс сыска и последующее наказание были втянуты сотни людей).

Однако, несмотря на отмеченные недостатки (и ряд других, менее значительных), новая работа Коллманн, вне всякого сомнения, представляет большой не только научный, но и общественный интерес и заслуживает внимательного, с карандашом в руках, прочтения и последующего анализа и размышлений над впечатлениями от прочитанного.

*Пенской В.В.,  
г. Белгород,  
Белгородский государственный университет  
penskoj@bsu.edu.ru*

## Литература

Агамбен 2011 – Агамбен Дж. Номо sacer. Суверенная власть и голая жизнь. – М.: Европа, 2011.

Аракчеев 2014 – Аракчеев В.А. Власть и «земля» Правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI – начала XVII века. – М.: Древлехранилище, 2014.

Бовыкин 2012 – Бовыкин В.В. Местное самоуправление в Русском государстве XVI в. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.

Бовыкин 2015 – Бовыкин В.В. Очерки по истории местного самоуправления эпохи Ивана Грозного. – СПб.: ГП ЛО «ИПК Вести», 2015.

Вульф 2003 – Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. – М.: Новое литературное обозрение, 2003.

Ерусалимский 2003 – Ерусалимский К.Ю. Долгий XVII век в России: антропологическая перспектива // Русский Журнал / Круг чтения / <[http://old.russ.ru/krug/20030520\\_erus.html](http://old.russ.ru/krug/20030520_erus.html)> – Доступ на 10.01.2017.

Жирар 2010 – Жирар Р. Насилие и священное. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Жмакин 1881 – Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. – М., 1881. Отдел приложений.

Кивельсон 2012 – Кивельсон В. Картография царства: земля и ее значение в России XVII века. – М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Коллман 2001 – Коллманн Н.Ш. Соединенные честью. – М.: Древлехранилище, 2001.

- Корчмина 2015 – Корчмина Е.С. «В честь взяток не давать»: «почесть» и «взятка» в послепетровской России // Российская история. 2015. № 2. С. 3-13.
- Кром 2010 – Кром М.М. «Вдовствующее царство»: политический кризис в России 30-х – 40-х годов XVI века. – М.: Новое литературное обозрение, 2010.
- Милов 2001 – Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 2001.
- Нойманн 2004 – Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004.
- Саид 2006 – Саид Э.В. Ориентализация. Западные концепции Востока. – СПб.: Русский Мирь, 2006.
- Серов 2012 – Серов Д.О. «Взяток не имал, а давали в почесть...». Взятничество в России от царя Алексея Михайловича до царя Петра Алексеевича // Отечественные записки. 2012. № 47 (2). С. 211-223.
- Соловьев 1988 – Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 1 // Соловьев С.М. Сочинения. Кн. I. – М.: Мысль, 1988.
- Трепавлов 2017 – Трепавлов В.В. Восток – дело тонкое // Историк. 2017. № 1(25). С. 34-37.
- Филюшкин 2017 – Филюшкин А.И. Как Грозный стал тираном // Историк. 2017. № 1(25). С. 22-27.
- Хеншелл 2003 – Хеншелл Н. Миф абсолютизма. – СПб.: Алетейя, 2003.
- Berelowitch 2001 – Berelowitch A. *La hierarchie des egaux. La noblesse russe d'Ancien Regime (XVI-XVII siecles)*. Paris: Editions Seuil, 2001.
- Elliott 1992 – Elliott J.H. 'A Europe of Composite Monarchies', *Past & Present*. No. 137. The Cultural and Political Construction of Europe. 1992. Pp. 48-71.
- Rustemeyer 2010 – Rustemeyer A. 'Systems and Senses: New Research on Muscovy and the Historiography on Early Modern Europe', *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, Summer 2010. Vol. 11, No. 3. (New Series). Pp. 563-579.

